

ББК 81.031
П 25

*Исследование подготовлено при поддержке
Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН
«История, язык и литературы славянских народов
в мировом социокультурном контексте»
и Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 04-06-80443)*

РФФИ

*Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 04-04-16072)*

Пеньковский А. Б.

П 25 Загадки пушкинского текста и словаря: Опыт филологической герменевтики / Под ред. И. А. Пильщикова и М. И. Шапира. — М.: Языки слав. культур, 2005. — 315 с. — (Philologica russica et speculativa; Т. IV).

ISBN 5-9551-0100-4

Очерки, собранные в книге, посвящены «темным местам» «Евгения Онегина», «Полтавы», «Путешествия в Арарум» и «Гробовщика». Последовательный филологический подход к слову Пушкина и его современников обнаруживает ускользающие от нас значения и смыслы, за которыми скрываются неизвестные стороны тогдашней русской жизни. В задачи автора входит непротиворечивое понимание ряда словесных мотивов и сюжетных деталей, взятых не изолированно, а в контексте художественного целого. Анализ подкрепляется обширными языковыми данными XVIII—XX вв., отражающими глубокие, но малозаметные сдвиги в языковой системе.

Книга может быть интересна пушкинистам, историкам русской литературы и русского языка, а также всем, кто хочет глубже понять Пушкина и культуру той эпохи.

ББК 81.031

ISBN 5-9551-0100-4



9 785955 101002

© А. Б. Пеньковский, 2005
© Языки славянских культур, 2005
© Philologica, 2005

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
<i>...Но разлюбил он наконец // И брань, и саблю, и свинец</i> («Евгений Онегин», 1, XXXVII, 13—14)	14
<i>...Ни карт, ни балов, ни стихов</i> («Евгений Онегин», 1, LIV, 11)	61
<i>Но наконец она вздохнула...</i> («Евгений Онегин», 3, XLI, 1)	76
О чердаках, вранях и метаязыке литературного дела («Евгений Онегин», 4, XIX, 4—5)	115
<i>Бесконечный котильон</i> («Евгений Онегин», 5, XLIII, 14 — 6, I, 7)	153
<i>...Как солью, хлебом и елеем, // Делились чувствами они</i> («Полтава», I, 264—265)	168
<i>...Видел... врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения</i> («Путешествие в Арзум»)	187
О Петре Петровиче Курилкине, о покойниках и мертвецах, о гробах напрокат, о желтом цвете и многом другом («Гробовщик»)	225
Библиография	253
Указатель слов, форм и выражений	274
Указатель имен	307

**«...НО РАЗЛЮБИЛ ОН НАКОНЕЦ
И БРАНЬ, И САБЛЮ, И СВИНЕЦ»
(«Евгений Онегин», 1, XXXVII, 13—14)**

Вспомним характеристику Онегина в XXXVII строфе первой главы «романа в стихах»:

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и стразбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова:
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань и саблю и свинец.

Высказываясь по поводу этой и следующей строфы, комментаторы ограничиваются общими указаниями на то, что образ Онегина связывается с романтическим комплексом идей и чувств, в состав которого входят пресыщенность, отчуждение от мира, уныние, «преждевременная старость души» и т. п. При этом Онегин оказывается всего лишь двойником Кавказского пленника¹ и воплощением на русской почве разочарованных героев Байрона «в том иронически-сниженном освещении, которое было типично для наиболее радикальных деятелей тайных обществ, в частности

кишиневского окружения П(ушкина)» (Лотман 1980: 165). Конкретные детали пушкинского текста во внимание обычно не принимаются. Между тем приведенная выше строфа далеко не так ясна и прозрачна, как это может показаться на первый взгляд, а ее финальное двустипие просто загадочно, поскольку содержит трудно разрешимое противоречие.

Начну с неясностей целого, а затем перейду к загадке финала.

* * *

В самом деле, если не скользить взглядом по строчкам, а внимательно вчитаться и осмыслить сказанное Пушкиным, если отдать себе отчет в том, что понимание каждого отдельно взятого слова еще не гарантирует понимания целого текста и отдельных его отрезков, — в этом случае перед нами с неизбежностью встанет ряд вопросов.

Какие «друзья» и какая «дружба» *надоели* Онегину? Те ли это друзья, о которых в черновом варианте строфы 30-й «Путешествия Онегина» сказано:

Итак я жил тогда в Одессе
Средь новизбранных друзей
Забыв о сумрачном повесе
Герое повести моей —
(...) Каким же изумленьем,
Судите, был я поражен
Когда ко мне явился он!
Неприглашенным приведеньем (sic!) —
Как громко ахнули друзья
И как обрадовался я! —

(6: 504)²

И та ли это дружба, о которой в начале следующей строфы той же рукописи говорится: [Святая] *дружба!* — — *глас природы* (6: 504)? Или, напротив, это те «друзья», которым посвящены горькие строки (4, XVIII, 8 и далее):

(...) Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, боже!

«...Но разлюбил он наконец // И брань, и саблю, и свинец»

Уж эти мне друзья, друзья!
Об них недаром вспомнил я.

XIX.

А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты;
Я только в скобках замечаю,
Что нет презренной клеветы
(...)
Что нет нелепицы такой,
Ни эпиграммы площадной,
Которой бы ваш друг с улыбкой,
В кругу порядочных людей,
Без всякой злобы и затей,
Не повторил сто крат ошибкой (...)³

И если это так, если Онегин отошел от таких «друзей» и такой «дружбы», при которой все отношения исчерпываются светским остроумием и совместным застольем, с *beef-steaks*'ом — родным братом «окровавленного» *rost-beef*'а (1, XVI, 9)⁴ — и «стразбургским пирогом» (1, XXXVII, 8; ср. 1, XVI, 12), обливаемыми «шампанской бутылкой»⁵, то — при всем поверхностном сходстве онегинской ситуации с ситуацией Чайльд Гарольда — какое, спрашивается, отношение имеет это отчуждение к «байроническому разочарованию» и «преждевременной старости души» (Лотман 1980: 165)?⁶

Не больше оснований и для того, чтобы связывать с этим пресловутым разочарованием и пресыщением одновременное отчуждение Онегина от «шума света». Ведь это его представители именуются «светской чернью» (4, XIX; 8, X), «презренной чернию» («Разговор книгопродавца с поэтом», 1824). Это, если иметь в виду интегральный образ, сложившийся в языке и культуре пушкинской эпохи, тот самый *суетный*, *глупый*, *модный свет*, *докучный шум* и *блеск* которого соединяются с *чадом* и *удушьем* и в то же время с *мертвящим холодом*. Это *пустой*, но одновременно *полный лжи* и *обмана*, *безбожный*, *бездушный*, *безжалостный*, *беспощадный*, *немилосердный* и *убийственный свет*, власть которого над людьми представляется в обычных метафорах «*цепей*» и «*сетей*», «*омута*» и «*могилы*» (Пеньковский 1999д: 34—38; 2003: 41—46). А светские красавицы, которых «оставил» Онегин (1, XLII), — это те самые «*кокетки записные*» (1, XII), те «*обманчивые волшебницы*» (1,

XXXIV), те «причудницы большого света» (1, XLII), кого Пушкин называл еще «надменными ветренницами» (6: 550), «милыми шлюхами» (6: 351), «младыми» и «презрительными» (то есть заслуживающими презрения) Армидами и Цирцеями (6: 19, 261, 270; Пеньковский 1999б; 1999д, 79 сл.; 2003: сл.). При этом о героине сказано, что «красавицы» не долго были // Предмет его привычных дум — именно дум, а не «чувств», «желаний», «мечтаний» или «стремлений». Последнее свидетельствует о преимущественно «головном» характере отношений Онегина с «красавицами» и вполне согласуется с Пушкинским переводом Овидиевой «*Arg amatoria*», или «*Arg amandi*», как «науки страсти нежной» — «науки» (с подчеркивающим повтором этого весомого слова в VIII строфе 1-й главы), а не «искусства»⁷, живущего не только головой, но также душой и сердцем⁸.

Вот почему реакцией Онегина на «измены красавиц» оказывается не ревность, не муки уязвленного самолюбия, не отчаяние, не страдания душевные и не тоска сердечная, а «утомление». Соединять эти «измены» именно с «красавицами» и понимать их как «измены красавиц» заставляют строки 4-й главы: *В красавиц он уж не влюблялся, // А волочился как-нибудь; // Откажут — мигом утешался; // Изменят — рад был отдохнуть* (4, X, 1—4). Здесь мы находим не только «изменяющих красавиц», но и глагол *отдохнуть*, отсылающий к глаголу *утомить* (1, XXXVII, 5), чтобы затем — сложением смыслов этой конверсивной пары — вернуть нас к «труду» и трудовой «муче» в стихе 1, VIII, 6. При этом в строфе 1, XXXVII (как и во многих других случаях) Пушкин намеренно не проясняет, «кто — кого — кому — о ком». Идет ли речь об изменах Онегину, и тогда — с чьей стороны? со стороны «красавиц»? или, может быть, со стороны «друзей», как в «Кавказском пленнике»?⁹ Или мы должны думать об изменах Онегина, и тогда — кому? Изобретенный Пушкиным принцип субъектно-объектной неопределенности является одним из важнейших художественных приемов в поэтике «Евгения Онегина» и нигде более так широко и последовательно им не используется. Постоянно предъявляя читателю загадки такого рода¹⁰, Пушкин побуждает нас ставить перед собой вопросы и в поисках необходимого ответа либо забегать вперед, либо возвращаться назад, действуя, так сказать, в «челночном» режиме чтения. Этим обеспечивается совершенно поразительная связность поэтического текста, который лукаво характеризуется автором как *собрание пестрых*

«...Но разлюбил он наконец // И брань, и саблю, и свинец»

глав и так именно воспринимается на первый (и — увы! — не только первый) взгляд. Действительно, та же тема возникает и в третий раз — в 8-й главе, где Пушкин рассказывает о видениях Онегина из времен его петербургской юности: *(...) То видит он врагов забвенных, // Клеветников, и трусов злых, // И рой изменниц молодых, // И круг товарищей презренных* (8, XXXVII, 9—12) ¹¹.

Так в чем же виноват отвернувшийся от лжедрузей и лжедружбы и порвавший с «красавицами» Онегин? «(...) нашъ свѣтъ — гробъ повапленный!» — гневно писал А. Бестужев, размышляя над судьбами русских людей, «которые бы могли прославить словомъ или дѣломъ свое отечество», но «гибнуть, дремая душой въ вихрѣ моднаго ничтожества», потому что им «не достаеъ собственной рѣшимости вырваться изъ бисерныхъ сѣтей свѣта», который «допускаеъ въ свой кругъ не иначе, какъ съ условіемъ носить на себѣ клеймо подобнаго, отраднаго ему ничтожества» (Бестужев А. 1825: 7—8) ¹². Онегину достало такой решимости. Он вырвался из этих «бисерных сетей», он, так же как рассказчик, «свергнул бремя условий света» (1, XLV, 1) — и что? То, за что ему вроде бы следовало рукоплескать, уже полтора века служит основанием для самого жестокого осуждения — чего стѣят высказывания того же Александра Бестужева! ¹³

Вот почему в наших усилиях понять отделенный от нас временной, культурной и языковой пропастью «онегинский» текст так важно не упустить ни одного его знака, ни одного слова, ни одной строчки. Требуется самого вдумчивого обсуждения и финальное двустипие рассматриваемой здесь строфы.

* *
*

Первым и едва ли не единственным, кто обратил на него внимание, был чуткий к деталям пушкинского текста В. В. Набоков. Прочитывая занимающее нас место (*И брань и саблю и свинец*), он с покоряющей искренностью воскликнул: «Эта строка раздражающе туманна (This is an irritatingly vague line). Что именно разлюбил Онегин? Слово *брань*, подразумевающее военные действия (*warfare*), позволяет предположить, что около 1815 г. Онегин, подобно многим другим аристократам того времени, служил в действующей армии; однако более вероятно, что здесь, как показывает рукописный вариант, говорится о поединке (*single combat*)».

И объяснил не столько себе, не столько нам, сколько самому Пушкину, что «для оценки дальнейшего поведения Онегина (в главе шестой) было бы крайне важно высказаться более ясно о его дуэльном опыте» (Набоков 1975, 2: 149)¹⁴.

Но ведь Пушкин, предвосхищая упрек своего будущего комментатора, обдумывал и отбросил текст, содержащий кристально ясное сообщение о дуэльном опыте Онегина — вот варианты, к которым поэт долго примерялся в рукописях: *И хоть он был повеса пылкой, // Но предложить (sic!) им наконец // Устал [он] саблю иль свинец; Друзей то сабля, то свинец* (6: 243); *Но предлагать им наконец // Устал он саблю иль свинец; Устал же саблю иль свинец* (6: 551). Предметом размышлений Пушкина были и некоторые детали общей дуэльной практики этой эпохи, и особенности индивидуального дуэльного опыта Онегина. Из возможных инструментальных вариантов дуэли Пушкин с самого начала отказался от шпаги и палаша, оставив *саблю* (дуэль на саблях) и *свинец* (дуэль на пистолетах). Он предусмотрел нормальную для дуэли ситуацию выбора между видами оружия, поэтому называющие их слова и в черновой, и в белой рукописи связаны разделительным союзом *иль*. При этом перед автором естественно вставал вопрос о возможных противниках Онегина и о том, с чьей стороны могла бы исходить дуэльная инициатива: ср. вариант *Но предложить им наконец* (...), где местоимение *им* может отсылать только к ранее названным «друзьям» и тем самым закрепляет вызов за Онегиным как оскорбленным, в отличие от варианта *Друзей то сабля то свинец*, где Онегину отводится роль вызываемого и, следовательно, оскорбителя.

Однако в окончательном тексте всё кардинально меняется: вводится слово *брань*, а место разделительного *иль* занимает соединительный союз *и*. Это говорит о коренном изменении предмета пушкинской мысли: *сабля* и *свинец* объединяются как отвергаемые Онегиным одновременно и в равной связи с *бранью*. Но слово *брань* (это понимал и Набоков) является знаком войны, и только войны. Если *дуэль* — это поединок, в котором есть лишь два непосредственных участника, два противника («поединщика»), сходящиеся один на один; если *бой*, *битва* и *сражение* — это вооруженные столкновения с любым количеством участников (в том числе *двух*¹⁵), то *брань* — это вооруженное столкновение многих. Для обозначения дуэльного поединка оно никогда никем — и Пушкиным тоже — не использовалось¹⁶. Место дуэли можно было назвать *полем*

«...Но разлюбил он наконец // И брань, и саблю, и свинец»

боя, подем битвы или подем сражения (и даже просто подем¹⁷), но ни в коем случае не подем брани и не бранным подем. Следовательно, сабля и свинец в перечислительном ряду с бранью уравниваются как виды оружия в о́йны, а не дуэли.

Сказанным как будто вполне проясняется значение пушкинского выражения *разлюбить брань*. Согласно определению из «Словаря языка Пушкина», *разлюбить* — это «перестать находить удовольствие в чём-н(ибудь)» (СП, III: 944). В данном случае для Онегина это «что-нибудь» — брань 'война', и поскольку «перестать находить удовольствие в войне» может только тот, кто ранее находил удовольствие в войне, приходится признать логически безупречным высказанное Набоковым предположение об службе Онегина в действующей армии («active duty in the army»). Непонятно, однако, откуда взялась уверенно указанная Набоковым дата — «около 1815 г.». Если считать датой рождения Онегина 1795 г. (Nabokov 1975, 2: 42), гораздо вероятнее было бы предполагать, что «повеса пылкой», следуя ли естественному патриотическому порыву, или пытаясь вырваться из безысходного круга тоски, владеющей его душой¹⁸, отправился на поле брани с Наполеоном в самом начале военной кампании — шестнадцатилетним или семнадцатилетним юношей¹⁹.

Увы, как ни соблазнительно это предположение, оно должно быть отвергнуто: *ab posse ad esse consequentia non valet* (из возможного еще не следует заключение о действительном). Участие героя в Отечественной войне против Наполеона — событие настолько значительное, что ограничить указание на него одним туманным намеком, Пушкин, конечно, не мог. Кроме того, поскольку «брань» в жизни Онегина могла быть лишь кратковременным эпизодом, сказать об утрате удовольствия от участия в ней: (...) *Но разлюбил он наконец* (...) — Пушкину не позволил бы язык. Для Пушкина, как и для нас сегодня, наречие *наконец* имело три основных значения.

(1) Характеристика определяемого действия как некоего завершающего этапа длительного нецеленаправленного (неконтролируемого) процесса. Именно так, чтобы «промотаться наконец», отец Онегина должен был длительное время транжирить свое состояние, что он и делал, «живя долгами» и «давая три бала ежегодно» (1, III, 2—4). И так же, чтобы можно было задаться горестным вопросом: *Ужель и вправду наконец // Увял, увял ее венец?* (6, XLIV, 7—8), — этот «венец младости» должен был пережить долгое увядание²⁰.

(2) Характеристика определяемого действия как желаемого и достигнутого результата другого целенаправленного (контролируемого) действия. Именно так сваха должна была «недели две ходить к родне» няни, чтобы ее «наконец благословил отец» (3, XVIII, 9—11), а Татьяне (или Лариной-старшей) пришлось достаточно долго уговаривать купца, чтобы «наконец» «он уступил» ей «за три с половиной» сонник Мартына Задеки (5, XXIII, 1—6).

(3) Характеристика определяемого действия как последнего и притом особенно показательного и яркого акта в некотором более или менее длинном ряду актов. Именно так Ларина-мать постепенно изживала формы квазиромантического поведения, погружаясь в обычную для захолустной помещицы прозу жизни, и опустилась до такой степени, что *обновила наконец // На вате шлафор и чепец* (2, XXXIII, 1—14).

Поскольку наречие *наконец* в стихе 1, XXXVII, 13 («...») *Но разлюбил он наконец (...)* невозможно понимать ни в первом значении ('разлюбивал-разлюбивал и в конце концов разлюбил'), ни во втором ('разлюбил в результате каких-то действий иного субъекта'), из трех возможных его значений остается только третье (близкое к 'даже'), однако оно несовместимо с интерпретацией целого в «бранно-военном» смысле. Сказать «и даже перестал находить удовольствие в войне», имея в виду кратковременное событие прошлого, к тому же находящееся в ином прошедшем времени, чем события, названные в предшествующих членах перечислительного ряда («измены красавиц», кутежи с «друзьями» и проч.), по нормам русского языка недопустимо.

Таким образом, можно почти с полной уверенностью утверждать, что в войне 1812 года Онегин не участвовал. Мог бы участвовать, как граф Кутайсов, который в 15 лет (!) был уже полковником гвардии; как те юные смельчаки, *которые, пускась в пятнадцать лет на волю, // Привыкли [нехотя] лишь к пороху [да к] полю* (7: 246); как толстовский Петя Ростов или как 19-летний корнет Александров — «кавалерист-девица» Н. А. Дурова. Мог и, по всем соображениям, должен был бы участвовать²¹, но не участвовал, и Набоков это, несомненно, понимал. Потому и высказался на сей счет осторожно и предположительно, отдав в конечном итоге предпочтение дуальному варианту. «Но при чем все-таки „брань“?» — недоумевал он (Набоков-Сирин 1957: 44). Осознавая, что это слово сильно препятствует истолкованию «сабли» и «свинца» в «дуальном» смысле, он вынужден был апеллировать к сви-

детельствам рукописей, которые действительно говорили об онегинских дуэлях.

Как бы то ни было, двойственность позиции Набокова очевидна, и его читателям предоставляется свобода размышлений и выбора, а главное — возможность осознания того, что Пушкин загадал нам здесь еще одну из множества своих загадок. Вполне вероятно, что Ю. М. Лотман потому и уклонился от объяснений, что, не находя сколько-нибудь убедительных аргументов в пользу того или иного равно спорного и равно уязвимого решения, избрал, как и в ряде других случаев, в качестве наименьшего зла фигуру умолчания. Иные же, менее осторожные пушкинисты, отбросив сомнения или не имея их, ведая или не ведая о позиции Набокова, но во всяком случае не ссылаясь на него, безоговорочно приняли вторую из двух обсужденных выше интерпретаций — дуэльную, которая и переходит благополучно из одной работы в другую как нечто само собой разумеющееся (см. Тархов 1978: 242; Briggs 1992: 88; Кошелев 1999: 35; ср. Clayton 1985: 102; Мурьянов 1995: 162; 1999: 67; и др.)²². Это стало настолько обыденным, что, например, в кроссворде для школьников, озглавленном «Роман „Евгений Онегин“ — энциклопедия русской культуры», мы читаем: «И хоть он был повеса пылкий, // Но разлюбил он наконец // И ***, и саблю, и свинец. Архаизм, означающий войну, сражение (здесь речь идет о дуэлях)»²³. Этот пример показателен: разгадчику кроссворда предлагается найти слово *брань* по дефиниции «архаизм, означающий войну», но тут же вопреки всякой логике уточняется, что речь идет не о войне, а о дуэлях.

Нам не остается ничего другого, как еще раз вернуться к дуэльной версии понимания этого текста, переступив через *брань*. Но сделав это, мы тут же оказываемся перед новым препятствием — неловкостью в отнесении к глаголу *разлюбить* второго и третьего членов перечислительного объектного ряда: одно дело «разлюбить брань» 'перестать испытывать удовольствие от участия в дуэлях' и совсем другое — «разлюбить саблю и свинец». Допустимо ли читать это как 'перестать испытывать удовольствие от (использования) сабли и пистолета (то есть от рубки и стрельбы)? Едва ли. Но попытаемся преодолеть этот новый смысловой порог с помощью отсылки к особенностям поэтического языка, тропическим сдвигам и т. п. и сочтем, что Онегин мог и полюбить, и продолжать любить, и «разлюбить» *свинец* (в метонимически формируемом смысле: 'свинец → пуля → пистолет → выстрел → дуэль')²⁴.

В пользу предположения о дуэльном опыте Онегина можно было бы указать, что, отправляясь из Петербурга в деревню, он захватил с собой *ящик боевой*, в котором хранились *Лепажа стволы роковые* (6, XXV, 8, 12). Однако на самом деле этот факт не говорит решительно ничего ни «за», ни «против». Ленский, которого в любви к дуэлям никак не заподозришь, тоже держал пистолеты наготове: *Домой приехав, пистолеты // Он осмотрел, потом вложил // Опять их в ящик* {...} (6, XX, 1—3). Онегин не сделал и этого: вспомнив о своем оружии в самый последний момент, он так и не взял «боевой ящик» в руки и даже не взглянул на пистолеты, целиком положившись на слугу (6, XXV). Что за этим стоит? Спокойная вера опытного дуэлиста в себя и в свое оружие²⁵ или спокойная готовность Онегина к любому исходу, которая лишь на один миг отступила перед неконтролируемым импульсом инстинкта самосохранения? И не этим ли постоянным безразличием Онегина к своей судьбе, его готовностью в любую минуту «прежний путь переменить на что-нибудь» (1, LIII, 13—14) объясняется его загадочно безмятежный сон в дуэльное утро и опоздание к назначенному сроку — опоздание, в котором обычно видят еще одно сознательно нанесенное им Ленскому оскорбление (Nabokov 1975, 3: 40; и др.)?

Не пропустив дуэльные строки в окончательный текст обсуждаемой строфы (1, XXXVII), Пушкин нигде более не обмолвился о дуэльном опыте Онегина, предшествующем его «бóю» с Ленским. Но если так, то вполне резонно предположить, что такого живого практического опыта у Онегина и не было. А это — Набоков прав — исключительно важно для оценки поведения Онегина на дуэли.

Как человек своего времени, как дворянин с обостренным чувством чести Онегин, разумеется, еще мальчиком узнал, что бывают ситуации, когда эту честь приходится защищать с оружием в руках. Ему было известно, как это обычно делается, поскольку основные положения неписаного дуэльного кодекса входили в репертуар обязательных сведений, общих для всех людей его круга, и потому, когда Зарецкий доставил ему приятный, благородный, // *Короткий вызов иль картель* (6, IX, 1—2), Онегин (хорошо усвоив, как в таких случаях положено поступать) с *первого движенья*, // *К послу такого порученья // Оборотясь, без лишних слов // Сказал, что он всегда готов* (6, IX, 5—8). Именно на этом пункте — «с первого движенья» — обличители Онегина основывают одно из главнейших своих обвинений, инкриминируя ему бесчеловечный, мерт-

«...Но разлюбил он наконец // И брань, и саблю, и свинец»

вый «автоматизм». Я же предлагаю увидеть в реакции Онегина не автоматизм бездушного мертвеца (ср. Непомнящий 1996: 142), а автоматизм человека, хорошо усвоившего предписания сухой теории, но никогда ранее не применявшего их в собственной живой практике. Всё становится на свои места, если мы увидим в дуэли Онегина с Ленским первую в их жизни дуэль (ср. Scholle 1975: 44). Это кажется вполне убедительным в отношении Ленского. Однако и Онегин, как мы помним, с горечью задавался вопросом: *Зачем я пулей в грудь не ранен?* («Путешествие», (IV), 6). В этом вопросе, конечно, следует видеть терзания Онегина, сокрушавшегося при воспоминании о гибели Ленского («Зачем он, а не я?!»), но значит ли это, что у Онегина не было других шансов получить ранение, кроме как на дуэли с Ленским? Или же были другие дуэли, но без ранения? (Первая возможность представляется мне более вероятной.) И еще: имея в своем распоряжении «боевой ящик», Онегин вплоть до самой дуэли, по-видимому, к нему не притрагивался. Создатель Онегина передал ему в наследство и полный разрыв с соседями (2, V)²⁶, и свое обычное времяпровождение (4, XXXVII—XXXIX)²⁷, и ежеутреннюю «ванну со льдом», и целодневный «бильярд в два шара» (4, XLIV, 3, 7), и многое, многое другое — по сути, всё, кроме поэтического дара, любви к народным сказкам и... регулярной тренировки в стрельбе²⁸.

Онегин не был ни демоническим героем, ни злодеем и ничьей крови не жаждал. «Злоба слепой Фортуны и людей» (1, XLV, 10—11) отравляла его жизнь, но не требовала дуэльного разрешения. Иные «друзья» изменяли и предавали, но не наносили оскорблений, которые можно смыть только кровью. Сам же Онегин, хотя и мог «язвительно злословить, когда хотелось уничтожить ему соперников своих» (1, XII, 3—5), тем не менее, надо думать, не переходил границ, за которыми в дело вступают секунданты²⁹. И все другие, кто имел право потребовать его к барьеру, не делали этого. «Блаженные мужья» тех женщин, с которыми Онегин сблизался, «оставались с ним друзья» (2, XII, 7—8) или, как сказано в другом месте, одаривали его своей «тяжкой дружбой» (4, VIII, 14). Не преследовали его ни отцы, ни братья, ни претенденты на руку и сердце соблазняемых им «невинностей» (1, XI, 2)³⁰. Ленский был, по всей видимости, первым, кто бросился на защиту «невинности» (которой ничто не угрожало) и послал Онегину вызов.

Онегин не ждал вызова и приезд Зарецкого поначалу воспринял как обычный визит, не связанный с событиями предыдущего дня (ср. Nasty

1999: 256). Картель Ленского застал его врасплох, и именно поэтому в нём сработал автоматизм ученика, хорошо выучившего преподанное ему правило: «На вызов надобно отвечать *всегда готов!*» Потом и раздумье пришло, и совесть заговорила (6, X), но было поздно. Он понимал, что сам Зарецкий палец о палец не ударит, чтобы предотвратить нелепую дуэль. И не было второго секунданта, который мог бы попытаться привести дело к миру. Онегину просто не к кому было обратиться. Рядом с ним не было ни одного порядочного и разумного человека, и времени на поиски тоже не было³¹. Вот почему — а вовсе не по незнанию правил дуэльного кодекса или из пренебрежения ими и уж тем более не из желания оскорбить Ленского (Набоков 1975, 3: 40—41) или Зарецкого (Лотман 1980: 98) — Онегину пришлось взять в секунданты своего слугу-француза, который мог исполнить лишь роль статиста.

Оба участника этой дуэли были одинаково неопытны, и шансы погибнуть и уцелеть у обоих были равны. Гибель Ленского оказывается роковой случайностью (ср. Bayley 1971: 257), а ответственность за то, что произошло, лежит не только на Онегине, но и на Ленском, так как именно ему, «в досаде пылкой» «гордо вызвавшему на бой» своего «приятеля» (6, XXXIV, 6—7), принадлежит инициатива дуэли (ср. Волохонская 1993: 30). Об Онегине лишь сказано: *Свой пистолет тогда Евгений, // Не преставая наступать, // Стал первый тихо подымать* (6, XXX, 6—8). А о Ленском мы знаем, что он, *жмуря левый глаз, // Стал также целить* (6, XXX, 10—11). «Также» — это с точки зрения самого Ленского, одержимого идеей наказать «развратителя», ибо о том, как Онегин прицеливается и куда метит, Пушкин не говорит ни слова³² (недаром большинство исследователей сходится в том, что Онегин не хотел смерти приятеля³³). И если это так, то не был ли выстрел Онегина, увидевшего и понявшего, что Ленский всерьез готов убить его, самозащитно упреждающим и неприцельно смертельным? Не говорит ли об этом и то, что Онегин, которому следовало бы «метить» либо «в висок», чтобы убить³⁴, либо «в ляжку», чтобы исполнить дуэльный долг, но сохранить противнику жизнь (6, XII, 14), попал, не успев прицелиться и/или по неопытности, «под грудь навывлет» (6, XXXII, 3)³⁵? Как бы то ни было, его первая реакция — это реакция человека, неприятно потрясенного случившимся (6, XXXI, 7—10). И *окровавленная тень* Ленского (как не вспомнить «кровавых мальчиков» «в глазах» Бориса Годунова!), являвшаяся *каждый день* Онегину и погнавшая его по свету (8, XIII, 7—10),

тоже говорит нам об Онегине не как о хладнокровном убийце. Очень существенно, что повествователь (за которым стоит сам Пушкин — теоретик и практик дуэльного дела) вполне сочувственно описывает нравственные муки терзаемого «сердечными угрызениями» Онегина (6, XXXV, 1—7), а «горожанка молодая» (6, XLI, 5) не находит для «убийцы юного поэта» более сильных слов осуждения, чем *этот пасмурный чудак* (6, XLII, 11—12).

Что касается сабли как оружия дуэли, то Онегин, с «прямым благородством» его «души» (4, XVII, 5), с его «гордостью» и «прямой честью» (8, XLVII, 10—11), скорее всего, не мог ее «разлюбить» по той причине, что он вряд ли мог полюбить ее. Пункт 499 позднейшего «Дуэльного кодекса» В. Дурасова гласит: «Хотя дуэль на саблях принадлежит к числу законных дуэлей, но употребляется редко, и оскорбитель имеет право отказаться от нее (...) и оскорбленный обязан избрать другой законный род оружия для дуэли» (Гордин 1996: 250). Так же считалось и в пушкинское время. Объясняется это тем, что фехтовальная дуэль почти никогда не приводила к большой крови и не считалась инструментом Божьего суда, решавшего исход поединка с выбором между жизнью и смертью. Такая дуэль могла быть увлекательным спортивным зрелищем на публичных вечерах, рядом с декламацией, танцами и вокальными номерами³⁶; на нее шли драчуны-фанфароны и трусливые забияки (преимущественно из числа военной молодежи³⁷), которые, предлагая сабельный вызов, наперед были уверены, что жизнью они не рискуют. Вызванный, если он обладал чувством собственного достоинства, как правило с негодованием отвергал саблю, а если и принимал ее, то лишь презрительно снисходя к слабости противника³⁸. Не зная этого Онегин не мог, как не мог не зная этого и Пушкин. «Двадцать лет — от Лицея до гибели — дуэль непрестанно занимала мысли Пушкина (...) Право на дуэль, способы осуществления этого права — выводы из обширного знания дуэльных ситуаций были одним из краеугольных камней его экзистенциальных построений» (Гордин 1987: 21)³⁹. Была в его «послужном списке» и сабельная — именно по этой причине не состоявшаяся — дуэль.

Как известно, в ночь с 4 на 5 июня 1821 г. в Кишиневе произошло столкновение Пушкина с французом Дегильи. Пушкин потребовал стреляться. Дегильи, трусливо отказавшись от пистолета, настаивал на сабле и разыграл при этом позорную сцену. Взбешенный Пушкин написал ему 6 июня: «К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера».

«Недостаточно быть трусом (в подлиннике: „un J. F.“, то есть *un Jean Foutre* 'membrem vigile'. — А. П.), нужно еще быть им в открытую. Накануне паршивой дуэли на саблях (в подлиннике: „d'un foutu duel au sabre“, где *foutu* — *part. pass.* от *foutre* 'futurer'; наверное, лучше было бы перевести: „паскудной дуэли на саблях“. — А. П.) не пишут на глазах у жены слезных посланий и завещания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины; не компрометируют дважды своего секунданта». «Заметьте, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли» [13: 30 (текст), 522—523 (перевод); ср. 12: 304]. Нет, «паскудная» дуэль на саблях была, как сказал бы Набоков, «совершенно не в характере Онегина» (ср. Nabokov 1975, 3: 41)⁴⁰.

* * *

Итак, мы можем еще раз со всей определенностью сказать: финальная строка строфы 1, XXXVII такова, что, от какого бы слова или словесного комплекса в ее составе мы ни отпавлялись, однозначное толкование заключенного в ней смысла в рамках рассмотренных выше подходов недостижимо. Если бы в нашем трехчленном ряду не было интегрирующей брани, то, не возвращаясь к первоначальному, отвергнутому Пушкиным дуэльному варианту, можно было бы понимать саблю в «военном», а свинец — в «дуэльном» смысле. Тогда герой предстал бы кем-то наподобие повесы, бравого воина и дуэлянта Р. И. Дорохова: *Ты прострелен на дуэле, // Ты разрублен на войне* («Счастлив ты в прелестных дурах...», 1829; ср. Цявловская 1959: 716). Однако Онегин не имел ничего общего с людьми этого типа. Если бы в трехчленном ряду не было сабли, брань говорила бы о войне, а свинец можно было бы связать с дуэлями. Тогда мы получили бы ситуацию Кавказского пленника: *Любил он прежде игры славы // И жаждой гибели горел. // Невольник чести беспощадной, // Вблизи видал он свой конец, // На поединках твердый, хладный, // Встречая гибельный свинец* (I, 347—352). Но хотел ли Пушкин повторить в Онегине этого героя? В трехчленном же сочетании ни распределить эти элементы так или иначе, ни свести их к тому или другому общему знаменателю оказывается невозможно. «Военная» семантика слова брань категорически исключает возможность интерпретации следующих за ним в сочинительном ряду слов сабля и свинец в «дуэльном» смысле. Вместе

«...Но разлюбил он наконец // И брань, и саблю, и свинец»

с тем понимание целого этой строки как свидетельства о военном опыте юного Онегина должно быть решительно отвергнуто (см. выше).

В этой связи можно было бы вспомнить высказанное Н. Л. Бродским предложение понимать рассматриваемую пушкинскую фразу как свидетельство того, что Онегин, «подобно Чацкому (...) мог увлечься „расшитым и красивым мундиром“ и даже носить его некоторое время, как это было в жизни Грибоедова и др., не встречаясь с „свинцом“ „на поле битв“ (на поле брани). Но так как в биографии пушкинского героя нет точного указания на его военную службу, то признание, что Онегин когда-то любил „брань, саблю и свинец“, может быть истолковано как указание на связи статского молодого человека с военными, на его тяготение к кружку военной молодёжи». «Но Онегин разлюбил „и брань, и саблю, и свинец“, т(о) е(сть) (?!) перестал бывать и на собраниях военной молодёжи. Причины этого перелома указаны в романе: в Онегине „чувства остыли“, он „к жизни вовсе охладел“» (Бродский 1950: 54, 55; ср. Никишов 1998: 61; Федута, Егоров, 1999: 86). Искусственность этого объяснения очевидна. Онегин (хотя об этом ничего не сказано) мог, конечно, полюбить (а потом «разлюбить») «красивый» гусарский или кавалергардский «мундир». Он мог, разумеется, полюбить и саблю — не как недостойное благородного человека оружие «паскудной» дуэли, а как честное, овеянное романтической дымкой и пороховым дымом боевое оружие. Боевая сабля — это один из важнейших элементов целостного «гусарского» комплекса, в который входят и доломан, и «кивер зверски набекрень», и «жесточкой ментик за спиной», и «ташка с царским вензелём», и «ухарский конь» с «узорным чепраком», шпоры, «два любезные уса» и «виски́ горою», а также «трубка с табаком», водка, «шампанского отгычки», «обширные чаши», полные вина, и «пуншевые стаканы»...⁴¹ Та к а я сабля — «бранная подруга»⁴², «бранная красавица»⁴³, ее признаки — «блеск» и «ясность», сфера ее действия — «кровавый бой», «пламенные сраженья» и «шумная сеча»; ее поэтические синонимы — «меч» и «булат». Но свинец как метонимия пули (и только через пулю также пистолета или ружья) к ряду «красивых» знаковых вещей может быть причислен с большой натяжкой⁴⁴. Ну, а брань как свидетельство «тяготения» Онегина к «кружку военной молодежи» просто не выдерживает никакой критики. Ответа на волнующий нас вопрос мы не находим и здесь.

Как же быть? Неужели пушкинская загадка неразрешима? Нет, и именно Бродский подсказывает направление, в котором следует двигать-

ся. Ведь его мысль о «мундире» и «сабле» оказывается весьма плодотворной, если только подходить к ним не как к предметам реальной экипировки, а как к предметам юношеской романтической мечты. Той мечты, которая овладевала сознанием множества молодых людей пушкинского времени, чтобы затем одних на всю жизнь приковать к армейской службе, а для других навсегда потерять свой блеск и привлекательность, как это произошло с лирическим субъектом в поэзии юного Пушкина.

Начиналось на обычном для этой эпохи возрастном рубеже 15—16 лет с мечты лицейского затворника-«монаха» о бегстве — почти по Бродскому — в веселый и разгульный мир «военной молодежи», который манил исключительно внешней, «красивой» стороной:

О Галич, время неозвратно,
И близок, близок грозный час,
Когда, послыша славы глас,
Покину кельи кров приятный (...)

Надену узкие рейтузы,
Завью в колечки гордый ус,
Заблещет пара эполетов,
И я — питомец важных Муз —
В числе воюющих корнетов! ⁴⁵

(«К Галичу», 1815)

Мысль о войне живет где-то в глубине сознания и дает о себе знать глухим и туманным намеком в перифрастическом «гласе славы». Очень скоро, однако, эта мысль прояснится. Прояснится пока еще в расплывчатых символических образах и тут же будет отвергнута:

Пускай, ударя в звучный щит
И с видом дерзновенным,
Мне Слава издали грозит
Перстом окровавленным,
И бранны вьются знамена,
И пышет бой кровавый —
Прелестна сердцу тишина;
Нейду, нейду за Славой.

(«Мечтатель», 1815) ⁴⁶

Затем эта мечта о славе вернется в период общего патриотического подъема, вызванного победоносным завершением военной кампании, вместе с сетованием на непричастность к «великим делам»:

«...Но разлюбил он наконец // И брань, и саблю, и свинец»

Сыны Бородина, о Кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред тобою
И славы под крылом наутре не почил?

(«На возвращение Государя Императора...», 1815) ⁴⁷

Мечта о славе «находит» и «исчезает», волнуя воображение:

Здравие славы
Выпью ли я?
Бранной забавы
Мы не друзья!
Это веселье
Не веселит,
Дружбы похмелье
Грома бежит.

(«Заздравный кубок», ред. 1819)

Среди воинственной долины
Ношусь на крыльях я мечты,
Огни во стане догорают;
Меж них, окутанный плащом,
С седым, усатым казаком
Лежу — вдали штыки сверкают,
Лихие ржут, бразды кусают,
Да изредка грохочет гром,
Летя с высокого раската...
Трепещет бранью грудь моя,
При блеске бранного булата,
Огнем пылает взор, — и я
Лечу на гибель супостата. —
Мой конь в ряды врагов орлом
Несется с грозным седоком —
С размаха сыплются удары.
О вы, отеческие Лары,
Спасите юношу в боях!
Там свищет саблей он зубчатой,
Там кивер зыблется пернатый;
С черкесской буркой на плечах,
И молча преклонясь ко гриве,